

Туан / рассказ

Category: Некаýалар, Китарсу

написано китарсу | 23 января, 2025

Туан / рассказ ТУАН

I.

Его знали все на десять лье в окружности – дядю Туана, толстяка Туана, Туана-Моя-Водочка, Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, кабатчика из Турневана.

Он прославил и всю деревеньку, приютившуюся в овраге, который спускался к морю, – бедную нормандскую деревеньку из десяти крестьянских домиков, окруженных деревьями и канавами.

Эти домишки прятались в овраге, сплошь заросшем травой и кустами, за поворотом, от которого и сама деревушка получила название Турневан [1]. Казалось, домишки прятались в этой яме, как птицы в грозу прячутся в глубокие борозды, – прятались от морского ветра, от дыхания морских просторов, крепкого и соленого, которое все разъедает, жжет, как огонь, сушит и убивает, как зимние морозы.

А вся деревушка казалась собственностью Антуана Машбле, по прозвищу Жженка, которого звали также и Туан-Моя-Водочка за то, что он постоянно твердил одно и то же: «Моя водочка – лучшая во всей Франции».

«Водочкой» он называл, конечно, коньяк.

Уж двадцать лет поил он всю округу своей водочкой и жженкой, и каждый раз, когда посетитель его спрашивал: «Чего бы мне выпить, дядя Туан?» – он неизменно отвечал: «Жженки, зятек, она и нутро прогреет и мозги прочистит; уж чего полезней для здоровья».

Еще была у него привычка звать всех и каждого «зютек», хотя ни одной дочери – ни замужней, ни на выданье – он не имел.

[1] Турневан (Tournevent) – дословно «поворот ветра».

Да и кто не знал Туана Жженку, первого толстяка во всем кантоне и даже во всей округе! Его домишко казался до смешного

низеньким и тесным для такой туши; и когда его видели на пороге дома, где он, бывало, простаивал целыми днями, то удивлялись, как это он пролезает в дверь. Входил же он всякий раз, когда являлся кто-нибудь из потребителей, потому что Туана-Моя-Водочка все обязательно угощали, какая бы ни ставилась выпивка.

На вывеске его кабачка значилось: «Свидание друзей», и дядя Туан действительно был другом всем и каждому в здешних местах. Из Фекана и Монвилье приходили повидаться с ним и повеселиться, слушая его, потому что этот толстяк рассмешил бы и мертвого. Он умел подшутить над людьми так, что они не сердились, умел так подмигнуть глазом, что все было понятно без слов, умел так хлопнуть себя по ляжке в приливе веселья, что поневоле разбирал смех. Поглядеть, как он пьет, и то было любопытно. Он мог пить сколько угодно и что угодно, лишь бы угощали, и его хитрые глаза светились радостью от двойного удовольствия: во-первых, он угощался, а во-вторых, получал за это самое денежки.

Местные шутники спрашивали его:

– А море ты выпил бы, дядя Туан?

Он отвечал:

– Отчего ж; только две причины мешают: во-первых, оно соленое, а во-вторых, не в бутылки же его разливать; а ведь с моим брюхом из такой чашки не напьешься.

А как он ругался с женой! Это надо было послушать. Такая получалась комедия, что никаких денег не жалко. Тридцать лет они были женаты и все тридцать лет переругивались каждый день. Но дядя Туан шутил, а старуха злилась. Это была высокая плоскогрудая крестьянка с длинными, худыми, как у цапли, ногами и сердитыми совиными глазами. Она разводила кур во дворе позади кабачка и славилась умением откармливать домашнюю птицу.

Если в Фекане у кого-нибудь из господ обедали гости, то к столу обязательно подавали откармленную мамашей Туан птицу, – без этого и обед был не в обед.

Но характер у нее был скверный: вечно она была не в духе, сердилась на всех вообще, а на своего мужа особенно. За его

веселость и за то, что его все любили; за здоровье и за толщину. Она честила его лодырем, потому что деньги ему доставались даром, без всякого труда, и обжорой, потому что он пил и ел за десятерых; дня не проходило, чтобы она не заявляла ему, вне себя от злости:

– Убирался бы ты лучше в свинарник, да и сидел бы там голышом! Глядеть на тебя противно: одно сало.

И кричала ему прямо в лицо:

– погоди, погоди, вот увидишь, что с тобой будет! Лопнешь, как мешок с зерном, пузырь этакий!

Туан заливался хохотом и отвечал ей, хлопая себя по животу:

– Эх ты, куриная мамаша, жердь сухая, попробуй так откормить свою птицу! Ну-ка, постарайся.

И, засучив рукав на своей толстой руке, говорил:

– Вот это крылышко, мамаша, погляди-ка!

Завсегдатаи кабачка стучали кулаками по столу, корчась от смеха, топали ногами и восторженно сплевывали на пол.

А разъяренная старуха твердила:

– погоди, погоди, вот увидишь, что будет: лопнешь, как мешок с зерном!

И уходила в бешенстве под дружный смех гостей.

В самом деле, на Туана нельзя было смотреть без смеха, такой он стал красный и толстый, точно надутый. Над такими толстяками смерть как будто потешается, подкрадываясь к ним исподтишка, хитрит и паясничает, придавая им что-то до крайности смешное своей медленной и разрушительной работой. Вместо того чтобы проявить себя, как на других, не таясь, сединой, худобой, морщинами, угасанием сил, всем, что заставляет говорить с содроганием: «Черт возьми, как он постарел!» – она, негодяйка, забавлялась, наращивая сало, доводя человека до уродливой толщины, раскрашивая его синим и красным, раздувая, как шар, так что вид у него был сверхчеловечески здоровый; она обезобразила дядю Туана, как и все живое, но это безобразие становилось у него не мрачным и зловещим, как у других, а смешным, шутовски забавным.

– погоди еще, погоди, – твердила мамаша Туан, – вот увидишь, что случится.

II.

А случилось то, что дядю Туана хватил удар. Великана уложили на кровать в каморке за перегородкой, чтобы ему было слышно, о чем толкуют в кабачке, и чтобы он мог разговаривать с приятелями; ведь голова у него была по-прежнему светлая, зато тело – громадная туша, такая, что ни поднять, ни повернуть, – было парализовано и оставалось неподвижным. Первое время надеялись, что его толстые ноги будут хоть немного двигаться, но скоро эта надежда пропала, и Туан-Жженка день и ночь лежал в кровати, которую перестилали только раз в неделю, призвав на помощь четверых соседей, и те приподнимали его за руки и за ноги, пока под ним перевертывали тюфяк.

Однако он был весел по-старому, только веселость у него была уже не та: он стал смиреннее и боязливее и, как ребенок, боялся жены; а она донимала его целый день:

– Ну вот, достукался, толстый лодырь, лентяй, пьяница негодный! Так тебе и надо, так и надо!

Он уже не отвечал старухе, а только подмигивал у нее за спиной и поворачивался к стене – единственное движение, которое он мог сделать. Это у него называлось «поворот на север» или «поворот на юг».

Главным его развлечением было теперь слушать, о чем толкуют в кабачке, и разговаривать через стенку с приятелями. Когда он узнавал их голоса, то кричал:

– Эй, Селестен, это ты, зятек?

И Селестен Малуазель откликнулся:

– Я, дядя Туан. Опять, что ли, прыгаешь, жирный кролик?

Туан-Моя-Водочка отвечал:

– Положим, прыгать я пока не прыгаю. Зато и худеть не худею, сундук еще крепкий.

Потом он начал зазывать в каморку близких приятелей, чтоб они составили ему компанию, хотя очень огорчался, глядя, как они пьют без него. Он все твердил:

– Одно плохо, зятек, без моей водочки тоска берет, ей-богу! На все остальное мне плевать, а вот без выпивки – плохо дело.

В окно заглядывала совиная голова мамыши Туан. Старуха

поднимала крик:

– Вот поглядите-ка на него, на пузатого лодыря; теперь и корми его, и обмывай, да еще чисти, словно кабана!

Когда старуха уходила, на окно вскакивал рыжий петух, круглым любопытным глазом заглядывал в комнату и громко кукарекал. А не то одна или две курицы подлетали к самой кровати, подбирая с полу хлебные крошки.

Прятели дяди Туана скоро совсем забросили свои места в общей зале и каждый день после обеда собирались потолковать вокруг постели толстяка. Шутник Туан и лежа ухитрялся их развлекать. Этот хитрец самого черта насмешил бы.

Трое завсегдатаев приходили каждый день: Селестен Малуазель, высокий и худой, согнутый, как ствол старой яблони, Проспер Орлавиль, маленький, сухопарый, похожий на хорька, ехидный и хитрый, как лиса, и Сезэр Помель, который всегда молчал, но все-таки веселился.

Со двора приносили доску, клали ее на край постели и садились играть в домино, причем сражались, черт возьми, не на шутку: с двух часов до шести вечера.

Но мамаша Туан была просто невыносима. Она не могла примириться с тем, что ее толстый лодырь развлекается по-прежнему и играет в домино, валяясь в кровати. Только, бывало, старуха увидит, что игра началась, сейчас же ворвется, как бешеная, опрокинет доску, схватит домино и отнесет в кабачок: довольно, мол, с нее и того, что она кормит этого кабана, не желает она больше видеть, как он веселится; нарочно, что ли, он дразнит людей, которые день-деньской работают не покладая рук?

Селестен Малуазель и Сезэр Помель сидели смирно, а Проспер Орлавиль начиная поддразнивать старуху: его забавляло, как она сердится.

Заметив как-то, что она разозлилась сильнее обыкновенного, он ей сказал:

– А знаете, мамаша, что я сделал бы на вашем месте?

Она замолчала, в недоумении уставившись на него своими совиными глазами.

Проспер объяснил:

– Он у вас горячий, как печка, муженек-то ваш, и с кровати не встает. Так вот, я бы его высидивать яйца заставил.

Она остолбенела, вперившись взглядом в хитрую физиономию крестьянина, думая, что он над ней смеется. А тот продолжал:

– Я бы ему положил по пятку яиц под мышку и с одной и с другой стороны в тот самый день, как наседка сядет на яйца. А когда цыплята вылупятся, я бы их отнес к наседке, пускай выхаживает. Вот бы развелось у вас кур, мамаша!

Старуха растерянно спросила:

– А разве это можно?

Тот отвечал:

– Можно. А почему же нельзя? Выводят же цыплят в теплой коробке – значит, и в постели можно вывести.

Она была поражена таким доводом, сразу стихла и ушла, задумавшись.

Неделей позже она принесла Туану полный фартук яиц и сказала:

– Я посадила желтуху на десяток яиц. А вот и тебе десяток. Смотри, не раздави.

Туан не понял ее и спросил:

– Чего тебе надо?

Она отвечала:

– Надо, чтобы ты цыплят высидивал, дармоед.

Сначала Туан засмеялся, но старуха настаивала; он рассердился, заупрямился и наотрез отказался подложить куриные зародыши себе под мышку.

Но разъяренная старуха объявила:

– Пока не возьмешь яйца, никакой еды не получишь. А там видно будет.

Встревоженный Туан промолчал.

Когда часы пробили двенадцать, он позвал ее:

– Эй, мамаша! Суп сварился?

Старуха отозвалась из кухни:

– Нет тебе супа, толстый лентяй.

Он подумал, что жена шутит, и подождал немного, потом стал просить, умолять, ругаться, в отчаянии ворочался то на север, то на юг, стучал кулаком в стенку, но в конце концов покорился судьбе и позволил подложить себе пяток яиц под левый бок.

После этого ему дали похлебки. Когда пришли его друзья, они подумали, что ему совсем плохо, такой у него был странный и стесненный вид.

Потом начали, как всегда, играть в домино. Но дяде Туану это, видимо, не доставляло никакого удовольствия, и рукой он двигал еле-еле, с большой осторожностью.

– Рука у тебя привязана, что ли? – спросил Орлавиль.

Туан ответил:

– Да, в плече словно тяжесть какая.

Вдруг в кабачок кто-то вошел. Игроки замолчали.

Это был мэр со своим помощником. Они спросили по рюмочке коньяку и стали разговаривать о местных делах. Они говорили вполголоса. Туан хотел было приложиться ухом к стене и, сделав быстрый поворот на север, устроил себе в постели яичницу.

Он громко выругался; на крик прибежала мамаша Туан и, угадав, что случилось, сдернула с него одеяло. Сначала при виде желтой припарки, облепившей весь бок ее мужа, она остановилась от негодования, как вкопанная, не находя слов. Потом, вся дрожа от ярости, она бросилась на паралитика и принялась колотить его по животу изо всей силы, как бьют вальком белье на пруду. Она молотила кулаками быстро-быстро, с глухим стуком, словно заяц по барабану.

Трое приятелей Туана смеялись до упаду, кашляли, чихали, охали, а толстяк осторожно защищался от наскоков жены, боясь раздавить яйца, лежавшие с другого бока.

III

Наконец Туан сдался. Ему пришлось высидеть яйца, отказавшись от игры в домино, от всяких движений, потому что за каждое раздавленное яйцо злая старуха морила его голодом.

Он неподвижно лежал на спине, уставившись глазами в потолок, растопырив руки, как крылья, согревая своим телом куриные зародыши в белой скорлупе.

Теперь он говорил всегда шепотом, словно боялся не то что двигаться, а даже шуметь, и все беспокоился о желтой наседке, которая в курятнике несла ту же повинность, что и он.

Он спрашивал у жены:

– Покормили желтуху с вечера?

А старуха переходила от кур к мужу и от мужа к курам, вся поглощенная мыслями о будущих цыплятах, которые высиживались и в постели и в курятнике.

Соседи, которые знали об этой истории, с любопытством заходили в кабачок и степенно спрашивались о Туане. Они входили к нему на цыпочках, как к больному, и с участием спрашивали:

– Ну, как дела? Подвигается, что ли?

Туан отвечал:

– Подвигаться-то подвигается, только что-то меня все в жар бросает. И по всему телу мурашки бегают.

Но вот как-то утром старуха вошла к нему в большом волнении и объявила:

– У желтухи семь штук вывелось. Остальные три болтуны.

У Туана забилося сердце. Сколько-то окажется у него?

– А скоро это будет? – спросил он с тревогой, словно женщина, которая собирается родить.

Старуха, боясь неудачи, сердито ответила:

– Надо думать, скоро!

Они стали ждать. Собрались и приятели Туана, которые знали, что срок подходит, и тоже беспокоились.

По всей деревне только об этом и судачили, то и дело бегали справляться у соседей.

Часам к трем Туан задремал. Теперь он спал половину дня. Вдруг его разбудило непривычное щекотание под правым боком. Он протянул туда левую руку, и что-то живое, все в желтом пуху, зашевелилось у него под пальцами.

Он так взволновался, что закричал и выпустил цыпленка, а тот побежал по его груди. В кабачке было полно народу. Все бросились к двери, набились в каморку, окружили кровать Туана, словно палатку фокусника, прибежавшая старуха осторожно высвободила птенца, который запутался в бороде ее мужа.

Все молчали. День был жаркий, апрельский. В открытое окно было слышно, как желтая наседка клохтаньем сзывала своих новорожденных цыплят.

Туан, весь потный от волнения, тревоги и ожидания, прошептал:

– У меня еще один вот сейчас вывелся, под левым боком.

Жена засунула в постель длинную костлявую руку и вытащила второго цыпленка с ловкостью и осторожностью повивальной бабке.

Соседям захотелось поглядеть на него. Цыпленка передавали из рук в руки, разглядывали его, словно какое-то чудо.

В следующие двадцать минут не вывелось ни одного цыпленка, зато потом сразу вылупилось четыре.

Зрители зашумели. А Туан улыбался, радуясь такой удаче, и начинал гордиться своим необыкновенным отцовством. Ну еще бы, такие, как он, конечно, редкость! Вот уж, правда, выдумщик!

Он объявил:

– Шестеро! Вот так крестины, ей-богу!

Зрители громко расхохотались. В кабачок набились новые посетители. Остальные дожидались своей очереди перед дверьми.

Все спрашивали друг у друга:

– Сколько там у него?

– Шесть штук.

Старуха отнесла наседке это новое прибавление семейства, и та отчаянно клохтала, взъерошив перья и растопырив крылья, чтобы укрыть всех своих цыплят.

– Еще один! – закричал Туан.

Однако он ошибся: их оказалось трое! Вот это было торжество! Самый последний вылупился из скорлупы в семь часов вечера. Все яйца оказались хорошие! И Туан, с ума сходя от радости, торжествуя целовал в спинку слабенького птенчика, чуть не задушив его своими губами. Охваченный материнской нежностью к крохотному существу, которому дал жизнь, он хотел было оставить этого цыпленка до завтра у себя в кровати, но старуха и этого отнесла к наседке, не слушая никаких просьб своего мужа.

Восхищенные зрители стали расходиться, обсуждая это событие; один только Орлавиль задержался и, оставшись последним, заметил:

– Послушай-ка, дядя Туан, ты меня первого должен угостить жареными цыплятами.

При мысли о жареном лице Туана просияло, и толстяк ответил:

– Ну, само собой, угощу, зятек!

* * *

Напечатано в «Жиль Блас» 6 января 1885 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 5. МП «Аурика», 1994

Перевод Н.Дарузес. Некаýalar